

Поверх различий

Религиозная немзыкальность и единое пространство любви

Зигзаги постсекуляризма

Юрген Хабермас в речи на Франкфуртской книжной ярмарке 14 октября 2001 года произнес слова, разбежавшиеся на десятки откликов: "...сотворенность образа Божия в человеке будит интуицию, которая... нечто говорит и религиозно немзыкальному человеку". Сказано было в контексте спора о допустимости клонирования, но до меня эти слова дошли в одной из оценок событий 11 сентября: "Я сам человек религиозно немзыкальный, но думаю, что наступил конец эпохи секуляризма" (из письма моего корреспондента Пьера Шперри, выбравшего типичный отклик, не назвав фамилию автора). Слово "немзыкальность" было подчеркнуто и в краткой журнальной информации о речи Хабермаса (мне прислали два таких текста). Видимо, оно выразило что-то, носившееся в воздухе постхристианской и постсекулярной культуры.

Современный Запад религиозно немзыкален. Это очень точная самохарактеристика. О ней можно сказать, как Бродский о бабочке: "Ты больше, чем ничто". Сознание своей немзыкальности по-своему, негативно, отсылает к музыке и даже позволяет кое-что сказать о музыке. Сознание своей ограниченности плодотворно. Хабермаса оно вдохновило перевести религиозный аргумент против клонирования, начисто отвергаемый сциентизмом, на язык этики: человек не вправе определять судьбу сознательного существа, не спрашивая его согласия.

Религиозно немзыкальным человеком был, по-моему, Макс Вебер, но он блестяще разработал некоторые проблемы религии: расколдовывание мира монотеизмом, роль пророческих движений, роль протестантской этики в генезисе капитализма. Когда сознаешь свою глухоту, можно ее компенсировать - зная границу, где компенсации недостаточно, зная свою запретную область. Вебер сознавал, что "религиозных виртуозов" он не понимает. Только название того, что он не понимает, выбрано неудачно. Виртуозность - совершенство формы, а религиозная одаренность часто беспомощна по форме (например, у Сони Мармеладовой, у Хромоножки, вообще у юродивых). Тут важно совершенство слуха, и термин, предложенный Хабермасом, несравненно лучше. Героиня романа "Красное и черное", мадам де Реналь, - никакой не виртуоз, просто религиозно музыкальная женщина. Стендаль религиозно немзыкален, но интуицией художника он угадывает переживания созданного им и полюбившегося ему персонажа. Так Чехов угадывал своего Архиерея, своего Студента. Любя, мы угадываем Другого, входим в его душу. Так неверующий может любить Христа. Но центральное событие религии, мистический опыт "встречи" надо пережить непосредственно, лично, своим собственным сердцем; или в собственном сердце найти что-то родственное встрече: "это как чувствовать маму с закрытыми глазами", сказала шестилетняя девочка.

Первый шаг к пониманию музыки, которую не понимаешь, - сознание, что людям она дает великую радость, и открытость души к неведомому опыту. Я читал, как Стендаль упивался Гайдном, я читал о капельмейстере Крайслере, в доме которого жил кот-писатель Мурр, и мне хотелось испытать нечто подобное. Но начиная слушать симфоническую музыку, я через две минуты терял ее нить. Пришлось выбрать окольный путь, ходить в оперу, слушать вокалистов, и только в лагере, окунувшись в белые ночи, я научился понимать беспредметное искусство, искусство ритмических переливов неведомой силы, и уже от переливов света перешел к звуку, к симфониям, которые передавались по радио темными зимними ночами. Меня подталкивала тоска, подобная тоске богооставленности, - по свету, по культуре, по Москве, откуда передавали Чайковского. Я и еще один заключенный выхаживали симфонии с начала до конца при тридцатипятиградусном морозе. Остальные сидели в теплых бараках.

Так же долго - от скачка к скачку - преодолевалась моя религиозная немзыкальность. Только сорока лет от роду я, неожиданно для самого себя, в порыве любви, не имевшей ничего общего с церковностью, стал молиться о провале, вместе друг с другом, в вечность - и почувствовал, что целостность и вечность не менее реальны, чем пространство и время; просто почувствовал, как свет в груди, погасивший слабый внешний свет. Дальше пришло (очень не сразу) понимание, что вспышка экстаза - только предвестие ровного внутреннего света, как бы горящего в очаге, согревая твой дом, а не зажигающего стены, оставляя после красивого пожара пепел. Это уже особая тема - тема соблазнов на пути в глубину (безумие, вырождение любви в ненависть и т.п.). Скажу только, что так называемое "трезвение" подвижников - это равновесие вспышек внутреннего огня и смиренного разума, дающего ровное пламя, навсегда изгоняющее холод скуки.

Великих созерцателей, способных научить, немного (я писал об Антонии Сурожском, Мартине Бубере и Томасе Мертоне. См.: Звезда, 2002, No 1), но религиозная музыкальность - дело обычное и доступное каждому. Ее так же можно развить, как "понимание" музыки Баха (понимание в этом контексте значит примерно то же, что у Китти и Левина, когда они объяснились без слов). К сожалению, перегрузка интеллекта разрушает природную музыкальность ребенка. Так называемые дикари часто музыкальнее нас, слышат то, что мы не слышим, и передают то, что расслышали, в своих мифах. Но упадок духовной простоты и цельности не неизбежен и при некоторой одаренности, воле и настойчивости может быть преодолен лично, не дожидаясь исправления общества. Иногда отзывчивость к духу целого сохраняется в какой-то области целым народом (например, японское чувство цветущей вишни как иконы). Но народные обычаи сравнительно поверхностны. Глубинная интуиция - личный дар. Мышкин не может объяснить, почему и как в каждом дереве он чувствует присутствие Бога, заглушенного в человеке, и, созерцая дерево, причащается Богу. И никто вокруг не понимает его слова: "Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?"

Эти заметки сложились у меня и на полях книги А.П.Назаретяна "Цивилизационные кризисы" (М., 2001). Несмотря на резкое несогласие с его неосторожными заходами в область, где разум века сего (говоря словами ап. Павла) становится безумием, я читал эту книгу с большим интересом. Захватывает блестящая эрудиция, целая энциклопедия научной информации, которую надо держать в голове, думая о XXI веке и многих последующих веках иногда на миллионы и миллиарды лет вперед. Какая-то лебединая песнь сциентизма. Автор понимает, что научно-технический прогресс, если не остановить его, непременно разрушит биосферу со всеми нами вместе, но готов принести в жертву жалких потомков кроманьонцев и создать новых носителей разума на основе соединений кремнезема - или других гомункулов. Зачем? Чтобы разум стал повелителем вселенной. Допустим (хотя в последней главе оказывается, что господство разума завершается невыносимой космической скукой). Откуда берется уверенность, что прогресс науки и техники - высшая ценность? Наука не может этого доказать. Истинность системы, как известно, не может быть доказана в рамках системы, она постулируется извне, и только в странах Запада сциентизм захватил миллионы людей. В великих субглобальных цивилизациях Востока господствуют другие идеи. А потому сценарии, основанные на безусловном господстве сциентизма, построены на песке.

Я полистал огромный список литературы, около 400 названий, и нашел там имена классиков культурологии, но в тексте они не чувствуются. Сциентизм отторгает интуицию Шпенглера и Тойнби вместе со всеми последующими разработками. А между тем, остановить разрушение биосферы - трудная задача, но не более трудная, чем заменить людей роботами. И культурология здесь кое-что дает.

Глобальная культурология рисует нам конкурс четырех субглобальных цивилизаций, оказавшихся в одном пространстве электронной информации. На уровне книги их все-таки четыре, и эту многовековую традицию невозможно стереть. Центром каждой субглобальной цивилизации остается Святая Книга со своим языком и шрифтом как зримой оболочкой ее духа

(пространство латиницы, арабской вязи, шрифта деванагари, иероглифов Дальнего Востока). Своеобразное единство пронизывает все субглобальные культуры - проекты глобальной культуры - и окрашивает решение основных проблем жизни. То, что немислимо в Америке, вполне мыслимо в Китае. И если Запад не найдет пути к самоограничению, к паузе созерцания и в конечном счете - к цивилизации, живущей в гармонии с природой, то роль гегемона может перейти к другой субглобальной культуре или к блоку незападных культур, достаточно сильному, чтобы удерживать мир от губительной расточительности.

Не знаю, удастся ли сойти с пути неудержимого развития техники до катастрофы или целого ряда катастроф. Но может быть, сами катастрофы нас научат и помогут сотрудничеству всех духовных сил, в том числе мировых религий, на мой взгляд, далеко не исчерпавших своих возможностей обновления, "аджорнаменто". Начиная со II Ватиканского собора ведущие мировые религии стремятся найти общий современный язык. Беседы Томаса Мертона с Д.Т. Судзуки и далай-ламой XIV, протоколы конференции общества Христианской медитации, на которой далай-лама XIV комментировал Евангелие, - замечательные примеры этой работы. К сожалению, сциентизм ее не замечает, а прошлое мировых религий рисует резко тенденциозно: "Фанатизм и неограниченная жестокость к иноверам в раннем Средневековье отражает регресс нравственных ценностей в учениях Христа и Магомета по сравнению с великими моралистами Ближнего Востока, Греции, Индии и Китая в апогее осевого времени" (Назаретян, с. 101).

На самом деле философская этика осевого времени (как его понимает Ясперс, т.е. VIII-II вв. до Р.Х.) не сумела захватить древние империи. Христианству предшествовал упадок философии, запутавшейся в бесконечных спорах, что считать истиной. И христианство противопоставило "мудрости века сего" любовь к ближнему, основанную на общей любви "сынов Божьих" к "Отцу". Именно этим ранние христиане привлекли к себе сердца окружающих. А фанатизм пришел тогда, когда личность Христа достаточно потускнела в сознании христиан и дух Христа уступил место букве. Это продолжалось потом много веков спустя после раннего Средневековья. Перечислю основные факты: истребление иконоборцев в Византии (VIII в.), истребление альбигойцев в Высокое Средневековье, гугенотов - в эпоху Возрождения, религиозные войны XVII в. А как только установилась религиозная терпимость, началась нетерпимость якобинцев, коммунистов, нацистов.

Интересно противопоставить Средиземноморье Индийско-Тихоокеанскому региону. Там тоже произошел переход от философов-моралистов древности к массовым религиям средних веков, но массовые религии Индии и Китая совершенно чужды нетерпимости. Поэтому дело, очевидно, не в сущностной склонности религии к нетерпимости и фанатизму, а в особенности средиземноморской культуры VIII-II вв. до Р.Х., наложившей свой отпечаток и на дальнейшее развитие, религиозное и антирелигиозное. Надо ли повторять, что фанатизм революций XVIII-XX вв. намного превзошел фанатизм инквизиции?

Не берусь решать, что было раньше, курица или яйцо, история или логика, ускоренная в истории, но нетерпимость как-то связана с логикой, кодифицированной Аристотелем. Эта логика допускает только два суждения:

S есть P;

S не есть P;

Третьего не дано.

В религиозных и идеологических спорах, ведущихся "по Аристотелю", абсолютной истине противостоит абсолютная ложь, и ложь, естественно, должна быть низвергнута. Но в индийской логике нет закона исключенного третьего. Там допускается пять видов истинного суждения:

S есть P;

S не есть P;

S есть и P, и не P

S не есть P, ни не P;

S неопишем.

Высшая истина мыслится обычно неопишаемой, и спор ведется не между истиной, высказанной в тех или других словах, указаниях, нормах, которым противостоит ложь (также высказанная в словах и т.п.), а только между более или менее эффективным путем к истине. Буддизм более эффективен для буддистов, шиваизм - для шиваитов. Тут нет почвы для фанатизма. А на Дальнем Востоке конфуцианство - это путь государственной мудрости и семейной этики, буддизм - путь личного самоуглубления. Буддийские проповедники, просвещая Японию, попутно преподавали конфуцианскую этику. Японцы играют свадьбу со жрецом синто, а на похороны приглашают буддийского бонзу. Где же взаимная ненависть, на которой будто бы держится религия?

Современная католическая церковь, перейдя к диалогу с Востоком, пытается обогатить свое богословие элементами восточной философии (как некогда раннее христианство впитывало элементы платонизма). В замечательной книге о беседах далай-ламы XIV с бенедиктинцами, - которую я уже упоминал, вечность определяется не как бесконечно надоедающая длительность, а как цельность по ту сторону всякой двойственности, в том числе двойственности начала и конца. Тот, кто знаком с индийской культурой, сразу узнает ее след.

Сближение ведущих христианских религий с религиями Индии и Дальнего Востока происходило в тот самый век, когда людей расстреливали за неверие в возможность построения социализма в одной стране, а в центре Европы - за генетическую неполноценность. И террор велся по методам научной статистики: истреблялись не лица, совершившие преступления, а целые категории лиц (сословия, классы, этносы). Нетрудно вообразить себе в будущем столкновение экологического фанатизма с фанатизмом прогресса на основе небиологических носителей разума. Фанатизм расцветает всюду, где утрачен дух любви и логика Аристотеля (или Гегеля) заменяет сердце.

Для г-на Назаретяна любовь и сердце вне науки (и, следовательно, вне истины). Он выписывает несколько резких фраз Христа, доказывая этим Его агрессивность. Но Христос никогда не смешивал отдельные реплики с целостной истиной. Обстановка иногда требует от родителей прикрикнуть на ребенка, шлепнуть его, продолжая любить, не теряя готовности жизнь отдать за свое дитя. Резкие слова по-разному звучат в разных устах, и уста Христа любящие. Что касается отвлеченной истины философов, то на вопрос о ней Христос молчал. Это очень близко к "благородному молчанию" Будды в ответ на философские вопросы. Высшая мудрость знает, что целостную истину можно пережить, но нельзя высказать. Христос отвечает на вопрос, кто есть истина: Я емь истина и воскресение... Будьте подобны мне, как Я подобен Отцу... Он знает, что полноту истины можно выразить только всем собой, всей полнотой личности. Истину нельзя знать, истиной можно только быть - быть нераздельным с Отцом, как это выражено в Евангелии, быть нераздельным с Богом.

Все это давным-давно объяснено, Евангелие - не научный и не философский текст, его надо читать по правилам, заложенным в нем самом. Иначе след, проведенный Евангелием в истории, - одно недоразумение. Г-н Назаретян считает недостатком Евангелия его логическую несобранность, открытую противоречивость. Но при всяком собирании, при всякой систематизации непосредственная правда свидетельства была бы искажена и целостность

личности Христа, образ целостности Бога, уступила бы место толкованию, одному из бесчисленного множества толкований. И ни в одном из этих толкований не было бы целостной истины, а в Евангелии она чувствуется.

Г-ну Назаретяну не приходит в голову, что все подходы к целостной истине противоречивы, ломают логику. К целому нет логического подхода. Логика останавливается на дальних подступах к целому. Несколько дальше идут парадоксальные, абсурдные высказывания. Буддизм дзэн сохранил живую духовную традицию, широко пользуясь языком абсурда. От случая к случаю этим языком пользовались суфии, хасиды, православные старцы. А сердце истины можно высказать только знаковой паузой, молчанием, прерывающим речь. Заседания семинара имени Джона Мейна, посвященного диалогу христианства с буддизмом, начинались и кончались получасом молчаливой медитации. И именно в эти полчаса участники семинара чувствовали единство Святого Духа поверх всех различий слов, рожденных Духом на разных языках, в разных культурах. Поверх различий, которые невозможно и не нужно устранять, но можно пережить в духе недвойственности, доступной только "безымянному переживанию" (Кришнамурти). Интересно сравнить с этими моими мыслями слова вл. Антония Сурожского: "Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах - нравственных, или богословских, или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют Божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье... Мудрость поступает "безумно"! Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, так, как нас учит поступать Бог".

Передавая мне этот текст, Е.Л.Майданович вспомнила еще одно высказывание вл. Антония: "Нужно не вдохновение, а трезвость!" Я улыбнулся и сказал: "Это он говорит! Вдохновение всегда с ним, это видно с любой видеокассеты, в глазах всегда огонь, ничего теплопрохладного. Его проблема не допустить экстаза". Елена Львовна подумала и подтвердила: она замечала не раз, как разгорался огонь в глазах владыки и как он этот огонь сдерживал, стремясь к "трезвению", к равновесию между иррациональным огнем вдохновения и разумной трезвостью.

Не зная всей этой культуры, не понимая ее проблем, г-н Назаретян обнаруживает на собственном опыте, что к целому нет железной дороги логики. Подступая к проблеме целого, он неожиданно, нечаянно оказывается в безысходном порочном кругу: "Мир абсолютной любви, красоты и гармонии оказывается неустойчивым. Свободный от событий, страданий и устремлений, он наполняется Скукой, слившись в экстазе, он превращается в единый субъект, и, таким образом, Любовь лишается предмета, а дальнейшее существование - мотива и смысла. Любовь предполагает наличие другого, и дабы вновь обрести ее предмет, надо оттолкнуться. Так в Сфайросе (конечной точке прогресса. Г.П.) регенерируется сила дизъюнкции, Любовь рождает ненависть, которая пускает свои корни, Шар Любви взрывается - и начинается возвратная фаза мировой эволюции..." (с. 219).

Эта глава ("Спираль или заколдованный круг?") возвращает меня к временам юности, к весне 1938 года, когда я строил свою модель физической необходимости человека в структуре вселенной. Идея эта продержалась у меня довольно долго, постепенно сходя на нет, превращаясь в мыслимую модель рядом с другими, и мгновенно растаяла, исчезла, как дым, когда я вдруг услышал стихотворение "Бог кричал":

Бог кричал.
В воздухе плыли
Звуки страшней, чем в тяжелом сне.
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу

по мне.
Он был с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам расслышать за нашим криком
Бога живого крик?
Нет. Он не миф и не житель эфира.
Явный, как вал, как гром,
Вечно стучащее сердце мира,
То, что живет - во всем.
Он всемогущ. Он болезнь оборет,
Вызволит из огня
Душу мою, или, взыв от боли,
Он отсечет меня.
Пусть. Лишь бы Сам, лишь бы смысл Вселенной
Бредя, не сник в жару.
Нет! Никогда не умрет Нетленный.
Я
за Него
умру.

В метафорах Зинаиды Миркиной нет места для скуки. Бог сгорает в муке творчества, создавая мир, и мы сгораем в огне любви, отвечая Богу. В этом огне Бог причащается нашей конечности и смертности, а мы - его бессмертию и вечности.

А.П.Назаретян хочет овладеть бесконечностью, оставаясь обеими ногами на поверхности бытия, где $A = AeB$. Но в такой бесконечности и A , и B тонут, становятся нулем: $A: \sim=0$, $B: \sim=0$. И весь сфайрос, созданный разумом, становится нулем, и вся этика тонет в ничто. Назаретян простодушно рассказывает, что его гуманистический оптимизм основан на обаянии личности Сократа. У Сократа, действительно, сила мысли сочеталась со здоровой нравственной интуицией. Это, однако, личная особенность Сократа. Философия осевого времени кончилась не Сократом, а Гогезием, Ставрогиным Александрии, испробовавшим себя и в добре, и в зле, нашедшим то и другое одинаково скучным и покончившим с собой! Увы! Скука следует за безрелигиозной философией, "как тень или верная жена".

Этический минимум, необходимый после распада племен в империи, был восстановлен не на учениях философов, а на откровении, данном сыну плотника, в словах которого не заметно знакомство с учениями йованов (как евреи называли греков). Я думаю, что глобальный этический минимум современности тоже не обойдется без диалога с Богом Экклезиаста, Иова и распятого Христа. Богом, который присутствует в нашем мире как бесплотный дух любви и имеет меньше физической власти, чем полицейский. С Богом, который зажигает глубину сердца и действует через нас. С Богом, которому надо помочь.

Что на это скажет Акоп Назаретян? А он уже ответил мне, полемизируя с моей репликой в журнале "Педология" № 7 (полемика эта помещена в № 10). Приведу решающее место, в котором достаточно чувствуется его религиозная немзыкальность. Пусть читатель сам судит, на что это больше похоже: на Юргена Хабермаса или воинствующее безбожие Емельяна Ярославского...

"Чуть ли не первое, что сделали христиане, добившись власти в Риме, создали (усилиями Блаженного Августина) концепцию священных войн. Для этого в Библии, как и в любом богооткровенном учении, имелось более чем достаточно оснований.

Различие между религиями, которое очень часто гипертрофируется, в действительности гораздо поверхностнее, чем сходство между ними. Каждая из них теми или иными словами требует: "Не убий" - и тут же ограничивает сферу применимости этого требования: "Кто не со Мною, тот против Меня". "А когда встретите тех, которые не уверовали, - вторит Христу Магомет, - то - удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы". В политике эту мысль проще всех выразил Ленин: "Прежде чем объединиться, нам надо размежеваться..."

В этом и состоит лейтмотив всякой религии. Объединение через размежевание, солидарность, выстроенная на образе врага. Сказанное чуть менее выражено в средневосточных религиях (Григорий Соломонович не случайно вспомнил Будду), но исследователи отмечают, что и буддийская идеология, подобно исламской, "разделяет весь мир на правоверных (область мира) и неверных (область войны)" (В.И.Коренев).

Только такие, достаточно двусмысленные учения, сочетавшие в себе призыв к любви между своими с требованием ненависти к чужим, и становились по большому счету востребованными. Учения же, отвергавшие социальное насилие полностью, оставались достоянием эзотерических сект (типа квакеров).

Причина этого обстоятельства, в общем-то, ясна. Войны отвечали глубинным социальным и психологическим потребностям людей, и историческая задача религий состояла в упорядочении насилия. Значительно более трудная задача устранения политического насилия впервые встала перед человечеством, приобретающим небывалые средства взаимного истребления, только в самые последние десятилетия. Поэтому сохранение цивилизации в значительной мере зависит от того, успеют ли люди "вырасти" из религиозного мышления, прежде чем сочетание инфантильного ума с взрослой мускулатурой обернется необратимыми последствиями...

И.Кант разделил благие человеческие поступки на две категории: красивые и моральные. Первые совершаются по душевной склонности, из любви или симпатии. Вторые - вопреки эмоциональному порыву, из чувства долга, ответственности, дисциплины. Красивые поступки приятны и желанны, но на них не построить надежных социальных отношений (в поисках дантиста, который нас полюбит, мы рискуем остаться без зубов).

Поэтому общество тысячелетиями вырабатывало и совершенствовало более надежные, чем своевольная "любовь", механизмы консолидации: мораль, право и правовое сознание, самоконтроль, взаимоуважение, терпимость, взаимопонимание, чувство ответственности, личного, профессионального долга. Анализ показывает, что все это генетически основано на развитии интеллектуальных способностей, умения оценивать отсроченные последствия. Помоему, главную проблему современного человечества составляет дефицит не любви, а именно разума, трезвого самостоятельного мышления..." (Акоп Назаретян).

Идея, что любовь - разновидность агрессии, сперва вызвала у меня негодование, но потом я понял, что всякая научная теория опирается на опыт и важно понять, на какой опыт опирается наука Акопа Назаретяна. Это опыт любви как жажды обладания. Любовь ли это в самом деле, можно спорить, но так часто думают и говорят. Клайв Льюис довел это понимание до гротеска в "Письмах Баламута". Возможно, в другом переводе книга называется иначе. Черт-дядюшка там объясняет племяннику, что такое любовь: желание схватить любимого и сожрать его.

Так выглядит - в зеркале гротеска - наше генетическое наследство. Но любовь, если она есть, укрощает, приручает зверя, очеловечивает его. Глубокое любовное чувство граничит с почитанием Бога в его живой иконе. Такая любовь складывалась в племени узритов, в доисламской Аравии, в Индии средних веков, на средневековом Западе. Кроме того, есть платоническая любовь, любовь к детям и детей к родителям (она подчеркнута в китайской культуре) и даже привязанность собаки к хозяину и хозяина к собаке можно иногда назвать любовью.

У любви тысячи оттенков. Греки, как я уже говорил, превратили эти оттенки в предметы и поделили любовь на агапе, филе и эрос. Христиане сбросили эрос в преисподнюю, к чертям, и довели агапе до неба. А постхристианская культура стала бунтом раскованного эроса. По-моему, бесполезно возвращаться к тому, что однажды уже пало. Любовь без эроса безусловно возможна (любовь к незримому Богу, к иконной красоте природы). Но как единственный идеал она сразу становится надрывом, и не один отец Сергей споткнулся на этом пути. Меня привлекает к себе расширение пространства любви, стирание граней между личным и вселенским, между мирским опытом и религиозным поиском. Я сознаю, что слова мои недостаточны ясны, но они постепенно разъяснятся.

Хочется повторить и развить мысль, уже высказанную в моей реплике: личность можно описать как залив некоторого мыслящего и чувствующего океана. У залива индивидуальные очертания берегов, но он открыт океану, он одно с океаном. Одно - до тех пор, пока работа мысли не перегораживает горловины залива. С годами перемычка становится прочней, и ее прорывает только эстетическое потрясение. Если прав Тиллих (а я думаю, что он прав), то все эти потрясения входят в область религии - при разной степени близости к ее центру, но входят, так или иначе входят. Религиозное Тиллих определяет как предельно глубокое в любой области культуры, безразлично, связано ли это напрямую с культом или только переключается с ним.

Приведу пример из непридуманного рассказа Светланы Эминовой "Главная любовь жизни". "За ночь забыла - простила - всех своих врагов. Так вот что значит: "Иисус - это любовь" и "полюбите врагов своих!" Будьте в любви, и ничто не покажется неразрешимым.

Каждый прохожий - мил. Все слабы - всем нужна. Сегодня я всех сильнее. Обопритесь о мою улыбку. Кто тут несчастный - в записной книжке? Распоряжайтесь мной - ваша!

Расслабленность доброты. Понимаю Христа. Приходите ко мне, враги, - я прошу вас. Приходите, озлившиеся, - исцелю любовью своей. Распните покорюсь. Протеста не будет - душа, растворенная в добре, не способна протестовать. Я сливаюсь со всем, к чему прикоснусь. Я - плывущее облако добра" (С.Эминова. Я не понимаю людей. М., 2002. С. 268). Чувствуется, что христианские термины для рассказчицы непривычны, но на взлете чувства она не может без них обойтись.

На предельной глубине чувства рушатся все границы, и переключка двух сердец из плоти и крови становится переключкой с сердцем мира, любовью к сердцу мира и через него - с каждым человеком на земле, с каждым живым существом. Томас Мертон пережил это во сне и в видении. Сперва пришел сон, о котором он писал Пастернаку; во сне он сидит "рядом с еврейской девушкой лет четырнадцати-пятнадцати, и вдруг она с глубокой, чистой любовью обняла меня. Я был потрясен до глубины души. Оказалось, что зовут ее Притча, и я подумал, что имя это - очень простое и красивое. Еще я подумал, что она - из рода св. Анны. Мы заговорили об ее имени, она им несколько не гордилась, подружки смеялись над ним. Я сказал ей, что оно прекрасно, и на этом сон оборвался. ...Вот Вы и посвящены в скандальную тайну монаха, влюбившегося в девушку, да еще еврейскую! Чего и ждать в наши дни от монахов... перевелись подвижники былых времен".

Сон этот, продолжал Мертон, видимо, связан с тем, что произошло несколькими неделями позже, 18 марта, в Луисвилле, где он был по издательским делам. "Я шел по оживленной улице и вдруг увидел, что каждый человек - Притча, все они светятся ее красотой, чистотой, застенчивостью, хотя не знают, кто они на самом деле, и стыдятся своих имен - ведь над ними часто смеются. Они не ведают, что каждый из них - то бесценное Чадо Божие, которое от начала мира играет пред Его лицом" (с. 206).

О том, что произошло с ним тогда, Мертон писал в дневнике на следующий же день. Позже этот

текст вошел в составленные из дневниковых заметок "Догадки виноватого наблюдателя":

"В Луисвилле, у перекрестка 4-й и Ореховой улиц, в самом центре торгового района, я вдруг понял, что люблю всех этих людей, что они - мои, а я принадлежу им, что - не чужие, хотя и совершенно разные. Я словно пробудился от сна, где жил сам по себе, отделенный от всех, в особом мире, где царят отречение и мнимая святость. Нельзя быть святым, живя отдельно от других. Это - сон, иллюзия. ...Я чуть было не засмеялся от радости. Какое облегчение, какое счастье - освободиться от мнимых различий! ...Как хорошо быть одним из людей, хотя род человеческий занимается всякой чепухой и делает страшные ошибки. А все-таки Сам Бог прославил его, став Человеком. Я - один из людей! Подумать только, такая заурядная мысль потрясла меня, словно выигрыш на каких-то космических бегах.

...Людям никак не расскажешь, что они светятся, как солнце. ...Чужих нет! ...Если бы только мы все время видели друг друга, прекратились бы войны, ушли ненависть, жестокость, алчность. ...Нам было бы очень трудно не упасть друг перед другом на колени. ...Врата небесные - повсюду" (с. 207).

Заговорив о Мертоне, трудно остановиться. Хочется рассказать, что его любовь, созревшая в душе, кристаллизовалась наяву, как перенасыщенный раствор, в который брошена веточка (беру образ у Стендаля). В предисловии к русскому изданию биографии Мертона это осуждается: "Не все в Мертоне было безупречно, - пишет Форест. - Узнав о нем больше, вы увидите, что и он ошибался. На первом курсе в Кембридже он прижил внебрачного ребенка, в конце жизни, лежа в больнице, влюбился в медсестру. Это случилось вскоре после того, как аббат позволил ему жить в скиту. Оказавшись вне общего монастырского ритма, Мертон стал как никогда прежде уязвим для искушений. В первые годы монашества он идеализировал свой монастырь, а позже порывался найти "лучшее" убежище (слово лучшее - в кавычках!) и в письмах, говоря об аббате и братьях, порою не мог сдержать едкого сарказма".

Все, что ломает шаблоны, свалено Форестом в общую кучу. Факты, изложенные в книге, опровергают его. Мертон вспоминает с горечью поверхностные связи своей юности, корит себя за юношеский эгоизм, но никогда не осуждает глубокой любви, пришедшей к нему в последние годы жизни. В эссе "Любовь и жизнь" он пишет: "Мы созданы для любви. Смысл жизни - тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим" (в той же биографии Фореста на с. 101).

Это можно отнести к любой любви, не только запретной для монаха, но и к ней также. Для предельно глубокой любви нет внутренних запретов. Я думаю, что самый образ Божий в мужчине окрашен его мужественностью, а в женщине ее женственностью, и тяготение друг к другу не противоречит тяготению к Богу. Андрогинная молекула любви ближе к Богу, чем каждый любящий по отдельности. Остается противоречие между любовью и отрешенностью, но здесь можно вспомнить замечание Пикара, которого Мертон цитирует в "Мыслях уединенного": "Мы созданы не для того, чтобы ликвидировать противоречия, а чтобы жить с ними", находить в глубине единство того, что на поверхности сталкивается. После одного из последних свиданий с Марджи Мертон пишет в своем дневнике: "Я могу жить только один. Одиночество - мой привычный климат. То, что мне разрешено было испытать такое полное единство, такую гармонию, такую любовь с другим человеком, с ней, - просто удивительно. Людей я люблю, но больше часа мне с ними трудно. С ней я был часами и не уставал, это чудо; но я все равно отшельник" (с. 162).

Впоследствии Мертон принял формулу, предложенную Рютер, женщиной-теологом, с которой обменялся несколькими письмами: отрешенность и созерцание перестают быть профессией, становятся частью большого ритма жизни. Но к этому ритму надо было заново идти каждый день, и Мертон шел к нему все свои последние годы.

Не все внутренне возможное было возможно внешне. Приходилось покориться традиции,

которая в целом была еще живой и не допускала, до поры до времени, грубой ломки, открытого бунта. "Дорогая моя, что-то очень глубокое в нас велит нам сдаться, - писал он Марджи, - но не так, как сдаются, когда одежда падает на пол и тела приникают друг к другу. Насколько поразительней сдаться наготе любви и такому единению, когда между нами нет преграды иллюзий".

Что Мертон имел в виду, говоря о падении преграды иллюзий, не вполне ясно. Возможно, растворение человеческого в Божьем. Во всяком случае, он не считал свою любовь ошибкой, слабостью. Стихи, посвященные Марджи, были им переданы в архив; они опубликованы через 25 лет после его смерти. "Пусть знают и это, - писал Мертон, - ведь здесь часть меня самого, моя потребность в любви, мое одиночество, моя внутренняя разделенность, моя борьба, в которой уединение и "спасает", и мешает. Если оно спасает, то, видимо, не вполне" (с. 165-166).

Люди, подобные Мертону, не устают только от собеседников, с которыми можно молчать вдвоем, и такие собеседники становятся родными - иногда как супруги. Иногда - как братья и сестры, как нерожденные дети. Полная преданность Богу не мешает частным привязанностям. Она исключает только поверхностные связи; и именно этот внутренний запрет открывает дорогу предельной глубине личного чувства.

Опыт Мертона повторил опыт истории. Древние греки не знали глубокой любви к женщине. Только в средние века культ Пречистой Девы стал перекликаться с культом далекой возлюбленной, с рыцарским поклонением даме. Один из памятников истории любви - переписка Абеяра с монахиней Элоизой. Мертон и Марджи в чем-то подобны этой паре. Глубокая любовь мужчины и женщины невозможна без скрытого или явного религиозного поклонения, сдерживающего эрос. Пушкин почувствовал это в своем бедном рыцаре, и в стихотворении о встрече с А.П.Керн есть те же обертоны. Мне уже приходилось вспоминать атеиста Стендаля, угадавшего, что верующие глубже любят. Мадам де Реналь говорит Жюльену Сорелю: Чувствую к тебе то, что должна была испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь". Фабрицио дель Донго в сане епископа умирает от любви к Клелии Конти, как Перголезе, разлученный со своей возлюбленной.

Мертон оказался в плену своего пожизненного обета. Он не мог его нарушить без скандала, без грязных сплетен и вынужден был принести свое чувство к Марджи в жертву человеческим представлениям об установленном Богом порядке. Но в душе он продолжал считать свою позднюю любовь даром Божьим, ничуть не противоречившим всему, что он искал и что нашел в отрешенности. Напротив, в диалоге с религиями Востока он находил себе оправдание. Он говорил, что чувствует себя скорее дзэнцем, чем трапистом, а дзэнская аскеза допускала возвращение в мир.

Полное приятие высокой земной любви и поразительное предчувствие встречи с Марджи можно увидеть в его эссе о Святой Софии:

"Во всем видимом есть незримая плодоносность, глубинный свет, мягкая безымянность, скрытая целостность, - Божья мудрость, мать всего, природа творящая. Во всех вещах есть неистребимая кротость и чистота, молчаливый источник действия и радости. Это восстает в безымянной нежности и течет ко мне из незримых корней всего сотворенного, ласково встречая меня с невыразимо смиренным приветом, это и мое собственное бытие, моя собственная природа, и дар мысли и искусства Творца во мне, говорящий как Святая София, как моя сестра, Мудрость.

Я просыпаюсь, я рождаюсь заново по голосу моей сестры, посланному мне из глубины божественной плодоносности.

Представим себе, что я человек, спящий на больничной койке. Я и есть этот человек, спящий в

госпитале. Второго июля, праздник явления Богородицы. Праздник мудрости.

В пять тридцать утра я спал в глубоко спокойной палате, когда мягкий голос пробудил меня от сна. Я был подобен всем людям, пробуждающимся от всех снов, которые когда-либо снились во все ночи мира. Это было подобно единому Христу, пробуждающемуся во всех отдельных душах, которые когда-либо были отделенными, изолированными и одинокими во всех странах мира. Это было подобно всем умам, приходящим вместе к ясному сознанию после всего разброда, шатаний и запутанности, к единству любви. Это было подобно первому утру мира (когда Адам был пробужден от небытия нежным голосом Мудрости и познал ее) и подобно последнему утру мира, когда все частицы Адама восстанут из смерти по зову Святой Софии и найдут свое место.

Таково пробуждение человека, однажды утром, по голосу медсестры в госпитале. Пробуждаясь от безжизненности и тьмы, от беспомощности, от сна, встречаясь с реальностью и ощущая ее как нежность.

Это подобно пробуждению Евой. Это подобно пробуждению Святой Девой. Это подобно пробуждению от первичного небытия и восстанию в райский свет.

В прохладной руке медсестры - прикосновение жизни, прикосновение духа" (Merton reader, N.Y., 1989, p. 506-507).

Этот отрывок прозы можно продолжить стихами.

И сердце бьется в упоенье.
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Полнота жизни - это полнота любви. Душевно здоровый человек - это любящий человек, любящий во всю широту этого чувства, когда очищается горловина залива и через сердце течет океанская волна, смывающая различия между священным и мирским.

"Полюби Бога и делай, что хочешь", - говорил Августин, один из любимых святых Мертон. В эссе "День странника" он развивает мысль о любви без границ сдержаннее, но не менее твердо:

"Я не вижу никакой причины, по которой мужчина не может любить Бога и женщину в одно и то же время. Если бы Бог смотрел на женщин ревнивым глазом, зачем он сотворил их? Много говорят о женатых священниках... Пока никто не говорит о женатых отшельниках. Причем передо мной несколько икон Святой Девы".

Образ Святой Девы здесь воспринят в духе Бедного рыцаря:

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел...

Ни на каких других женщин, ни на кого, кроме любимой. И дальше, в разговоре о созерцании, продолжается переключка земного с небесным:

"Можно сказать, что я избрал брак с молчанием леса. Нежное тепло природы будет моей супругой. Из сердца теплой мглы исходит тайна, слышная только в молчании, но это корень всех тайн, которые шепчут все любовники на их постелях по всему свету. И может быть, я обязан хранить тишину, молчание, бедность, девственную точку чистого ничто, в котором центр всех воплощений любви. Я пытаюсь посреди ночи вырастить дерево любви и в тишине

подкармливаю его псалмами и пророчествами (Мертон вставал на рассвете и начинал день с пения псалмов. - Г.П.). Оно становится редчайшим из всех деревьев в саду это и первичное райское дерево, ось мира, космическая ось и крест".

И далее: "Для меня необходимо видеть пробуждение зари. Необходимо быть одному при воскресении дня, в тишине восхода. В этом полностью нейтральном состоянии я слышу от деревьев на востоке, высоких дубов, одно слово: день, никогда не одно и то же. Оно никогда не выговаривается ни на одном известном языке" (Merton reader, p. 434-435).

Глубокая любовь едина, как океан и его заливы. Волна в заливе переходит в океанскую волну и океанская - в прибой, сотрясающий залив. Глубокая встреча мужчины и женщины бывает, к сожалению, редко, и ее нельзя симулировать воображением. Симуляция кончается разочарованием, сдирающим с вороны павлиньи перья. Но остается то, о чем Цветаева писала в стихотворениях "Дерева" и "Куст". И у Рембо - далеко не святого, но великого поэта - стихотворение о прогулке вдоль межи кончается строкой: "В вселенную как в женщину влюбленный".

Мертон пробивался в глубину, резко порвав со своей разболтанной юностью. Логика разрыва привела его в монастырь. А когда сложилась внутренняя дисциплина, внутренняя иерархия порывов, внешняя дисциплина монастырского распорядка стала мешать, мучить, и много лет ушло на борьбу с рутинной. Всех этих противоречий не было в жизни баронессы де Гук, встреча с которой ярко описана в "Семирусной горе".

Екатерина Кольшкшина, в первом замужестве баронесса де Гук, во втором Дохерти, родилась в русской православной семье в 1896 году. Католицизм также присутствовал в доме. Бабушка-француженка, отвечая на вопросы девочки о вере, кончала словами: а в общем, это одно и то же. Поэтому переход в католицизм (в Англии, на полпути в Новый Свет) не был разрывом с традицией семьи. Во время революции Екатерина дала обет посвятить себя Богу, но у нее, видимо, не было надежды на казенное русское православие. Судя по ее речи в училище св. Бонавентуры, потрясшей Мертона, она видела в католической церкви единственную альтернативу мировому коммунизму и бичевала католиков за то, что они не горят апостольским огнем и не похожи на ранних францисканцев. Но разрыва с Россией никогда не было. Напротив, Кольшкшина, особенно в старости, прямо опиралась на традиции русских пустынников и странников и настойчиво вводила эти традиции в католический обиход.

Очень многим Екатерина была обязана своей матери. Наполовину англичанка, наполовину француженка, эта женщина жила так, как никто не живет на Западе. Раз в год она оставляла усадьбу, нанималась на месяц гувернанткой в какую-нибудь небогатую семью. Без опыта бедности она не чувствовала себя христианкой. Не знаю, была ли другая такая русская помещица, но все же в России это было возможно, рядом со Львом Толстым, рядом с Достоевским, любимые герои которого - юродивые. Мать брала с собой маленькую Екатерину, посещая пустынников. Однако никакого умерщвления плоти в доме не было. Когда у девочки начались месячные, мать ей сказала: Какое это счастье! Ты стала женщиной, ты сможешь рожать детей. Это лучшее, что женщина может сделать. Напрасно называют это проклятием, это дар Божий!

Такой пересмотр проклятия Адаму и Еве глубоко запал в душу Екатерины. Христианство означало для нее апостольскую бедность, но не отказ человека от своего пола. Если собрать вместе фразы, разбросанные в разных книгах, то учение Кольшкшиной подхваченное третьей, уцелевшей ее общиной (первые две развалились), можно коротко изложить так: человек создан для святости. Жизнь без святости неполноценна. Святость начинается с самых малых дел, выполненных с Богом в душе. Святость не требует подавления пола. Пол - такой же дар Божий, как все естество. Но надо хранить его в чистоте. Брак "счастливое приключение". Он может и не приключиться, жизнь полна и без него, а если приключился, то святость вполне возможна и в

браке, с одним условием: не портить образ Божий в мужчине и в женщине, не терять первородства сердца. Жизненный путь невозможен без неудач, но это не беда. Если на то пошло, то величайшим неудачником был Иисус Христос.

Неудачей кончились две попытки Кольшкиной создать общину нищенствующих, подавая другим беднякам милостыню слова, милостыню сочувствия. Первая попытка была сорвана в Канаде, вторая - в Нью-Йорке. Русская баронесса была очень нереспектабельна. Это вызывало раздражение и сплетни. Но огонь, горевший в ней, многих захватывал. Иногда в нее просто влюблялись, один раз ей трудно было удержаться, чтобы не ответить тем же. В своей автобиографии она с чувством юмора рассказывает, как ускользнула от этого соблазна.

Ей было уже сорок семь лет, когда известный журналист Дохерти решил написать о ней книгу. Закончив серию интервью, он обнял и поцеловал ее со словами: ты ведь не можешь отрицать, что любишь меня. Она ответила: да, но это бесполезно, - и поцеловала его. Она не могла оставить Дом Дружбы. И они решили расстаться. Но потом он роздал свое имущество, дал обет, что Дом Дружбы всегда будет на первом месте, и епископ их обвенчал. Медовый месяц длился три дня. И, лаконически заключает Кольшкина, "мы прожили 32 года и только один раз поссорились". В автобиографии больше ничего не сказано, но в посланиях обитателям Дома Мадонны мелькают отголоски счастливого брака.

"Молитва, - пишет Кольшкина, - это просто союз с Богом. Молитве не нужны слова. Когда люди любят, они смотрят друг другу в глаза, а жена просто лежит в объятиях мужа. Они не разговаривают. Когда любовь достигает апогея, ее не выразишь словами. Она достигает такого великого молчания, что пульс ее бьется с силой, которая неизвестна тем, кто любви никогда не испытывал. Такова суть молитвы с Богом. Вы соединяетесь с Богом, и Бог снисходит на вас, и союз этот вечен" ("Пустыня". Магадан, 1994. С. 55).

И в другом месте: "Истинное молчание - это разговор любящих. Потому что только Бог знает красоту молчания, его завершенность и внутреннюю радость. Истинное молчание - это огороженный сад, в котором душа может встретиться со своим Богом наедине. Это запечатанный ото всех источник, который только Бог может открыть и утолить беспредельную жажду души, стремящейся к нему...

Такое молчание не является исключительной прерогативой монастырей и монастырских школ. Это простое, наполненное молитвой молчание может явиться каждому. Оно доступно каждому христианину, который любит Бога, каждому еврею, который слышал в своем сердце голос Бога через Его пророков, каждому, чья душа вознеслась в поисках истины, в поисках Бога. Ибо где внутренний шум и беспорядок, там Бога нет!" (там же, с. 16).

Кольшкина ни в коем случае не против монашества, но "монахиня, - пишет она в своей автобиографии, - это женщина, безумно любящая Христа". А там, где безумия любви нет, там (можно продолжить ее мысль) монашество становится фальшью и насилием над природой. Я бы сказал, что такое понимание вещей близко к русскому народному пониманию пустынночества, странничества и юродства. Безумие любви - это не организация, не социальный институт.

После крушения всего, что создавалось в Гарлеме, Екатерина строила свою третью общину вместе с Эдом Дохерти и только под давлением кардинала Монтини (будущего папы Павла VI) согласилась на пожизненные обеты нестяжания, послушания и целомудрия. Последнее означало, по-видимому, что супруги стали жить в разных комнатах. Эта жертва была принесена не сразу. Три года ушло на размышления и колебания. И в общине обеты дали не все (вместе с двумя Дохерти - 17 человек). Такой ценой были достигнуты покровительство церкви и официальный статус, защищавший от нападков. Но говоря о тридцати двух годах супружества, Екатерина явно не считала его прерванным в 1954 году. Платоническое супружество продолжалось и позже, это легко сосчитать, если помнить, что свадьба состоялась в 1943-м.

В последний период служения Екатерины бедность стала исчезать в Северной Америке и добровольная встреча с бедностью утратила свою первостепенность. Это не значит, однако, что в мире победила любовь. В одной из самых замечательных глав "Пустыни" Екатерина Колышкина пишет: "Мы входим в "ледниковый период". Пройдет немного времени, и Канада, США, да и весь мир предложат своим правительствам - потребуют от них - обеспечить жизнь граждан от колыбели до могилы тем, что мы называем действенным проявлением милосердия...

Я называю это "ледниковым периодом", потому что действенное проявление милосердия должно сопровождаться великой любовью, нежностью, пониманием, состраданием и деликатностью. Однако в действительности сегодня оно редко представляется таковым - таким оно, скорее, было раньше. Боюсь, что в ближайшем будущем все вышеупомянутые слова будут объединены одним словом эффективность.

"Эффективность" - очень холодное слово, как и слово "бюрократия". Действительно, скоро голода не будет. Никто не умрет от нехватки медицинской помощи. Дания и Норвегия являются яркими тому примерами. Престарелые, новорожденные, дети да и все остальные граждане получают здесь надлежащий уход. Как мы знаем, в этих странах нет бедности. Скоро так будет и по нашу сторону Атлантики.

Однако в этих благополучных странах царит холод, страшный ледяной холод. Этот холод обрекает людей на страшное одиночество - одиночество и отверженность, которые ведут к большому числу самоубийств.

С помощью молитвы и поста, самоопустошения и самоотречения мы должны подготовиться к наступлению этой ледниковой эпохи, чтобы сердца наши стали чистыми, как у детей, способными видеть Бога. Мы должны стать проповедниками и носителями огня Святого Духа, потому что только огонь может растопить лед. Такова наша роль в будущем, и это будущее не за горами.

Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать "Божьим прибежищем" для миллионов людей, которые уже сегодня лежат израненные, одинокие, избитые бесчисленными грабителями, имя которым - легион. Да, мы должны стать ледоколами, сердца которых так переполнены любовью к Богу и к человеку, так наполнены огнем Святого Духа, что способны проникнуть сквозь ужасный холод, уже окутывающий нас и поработавший все больше и больше человеческих сердец.

В последующие годы поток людей, стремящихся к нам, возрастет. Они придут не за едой, не за одеждой или кровом. Они придут потому, что наконец поняли, что не хлебом единым жив человек. Так давайте же будем осторожны в своих не всегда обоснованных суждениях и пристрастиях. Да, возможно, есть опасность в общении с наркоманами, насильниками и прочими грешниками. Но наша вера защитит нас. Вера должна предохранить нас - вера и любовь. Молодежь будет приходить в поисках сердец, способных слушать, в поисках ран Христа - ведь только они могут исцелить ее. Нынешнее поколение привыкло вначале потрогать, а потом поверить. Мы должны показать людям эти раны, чтобы, прикоснувшись к ним, они таким образом коснулись Христа и получили от Него исцеление.

Мы должны подготовиться, потому что такое гостеприимство, такая открытость - это ледоколы и прибежище Христа, которые должны вырастать в нас через Огонь Любви. Я вижу людей, которые, придя к нам со всех уголков земли, стучатся в дверь. Мы должны быть готовы пропустить через свои сердца толпы людей: людей с грязными ногами, чистыми ногами, поломанными ногами, разбитыми сердцами и голодными душами.

Да, мужчины и женщины будут приходить, потому что они захотят прикоснуться, захотят

почувствовать. В нашем путешествии ко Всевышнему мы станем "Божими леодоколами", неся свет, огонь и тепло в холодный и все более механический мир завтрашнего дня, в котором о каждом будут заботиться со знанием дела и "эффективно". Мы избраны для нового измерения любви. Мы избраны для того, чтобы войти в одиночество современного человека, в ледниковую эпоху Завтра и стать Божиими леодоколами и прибежищами для всех израненных и обмороженных, чтобы согреть их своей любовью".

Общая черта Мертонa и Кольшкiной - понимание любви как круговорота, в котором любовь к земному, сотворенному, к отдельным людям, к красоте природы не препятствует любви к незримому Творцу. А любовь к Творцу находит в земном зримые иконы незримого Духа. Христианство освобождается от инерции полемики с разлагающимся языческим миром. Теряет излишнее значение физическое целомудрие, неизбежно преодолеваемое на пути к семье, и граница чистоты проходит между глубоким сердечным чувством, создающим духовную молекулу, и господством вожделения, искажающим в человеке образ Божий. Складывается новая форма святости, святой семьи, недостаточно выявленная историей. Относительно Мертонa это станет яснее, если вспомнить, что в самые последние свои годы он подружился с двумя многодетными семьями и много времени проводил с детьми.

Есть одиночки, живущие в чистом созерцании. Таков Кришнамурти. Выйти из созерцания ему почти так же трудно, как обычному человеку войти в созерцание. Даже общаясь с людьми, он остается одиноким. Некоторые вещи, доступные каждому, для него невыносимо трудны. Трудно было учиться. Индийский учитель бил его палкой за тупость. Кришнамурти не смог поступить в университет, изучать языки. Такие люди - живой противовес обыденному, живое дополнение к нему, но мыслимое только как редкость, как исключение.

Есть иной тип святости, как у Рамакришны, у многих христианских святых, с выходом из безмолвия к сострадательной любви, к молитвенной помощи другим, но в отдаленном присутствии святых семья остается вне святости и дети растут вне святости, соприкасаясь со святостью только по праздникам, в храме, а не каждый день у себя дома.

У Кольшкiной отчетливо сформулировано то, чего не хватает христианской цивилизации (хотя было в семье, вырастившей ее саму).

"Молодые мужчины и женщины любят друг друга. Они хотят пожениться. Но любят ли? Понимают ли, что призвание к браку означает такую любовь, что и дети их узнают, что такое любовь? Понимают ли они, что брак требует полной самоотдачи ради любви к Богу? Понимают ли, что любовь не эгоистична и не эгоцентрична и никогда не пользуется местоимением "я"?" (Е.Кольшкiна де Гук-Дохерти. Самородки. Магадан, 2001. С. 23).

Иногда нужно много лет, чтобы понять это. Иногда для этого нужна аскеза, как у Мертонa. Но аскеза не всегда должна быть пожизненной. Аскеза школа любви к Богу. Аскеза может быть заменой семьи, если семья не состоялась или вовсе невозможна, как в тюрьмах и лагерях. Но она может быть и дверью к любви, создающей святую семью. Святой Антоний, основатель монашества, спросил Бога, много ли он достиг, и получил ответ: меньшего, чем александрийский сапожник. В некоторых вариантах легенды это многодетный сапожник.

Любовь, спасающая мир от гибели, не имеет твердых форм, и никакой проторенный путь не дает твердой надежды на встречу. Ее нет нигде, и она открывается всюду. Только немногие семьи становятся молекулами святости; так же как немногие отшельники действительно святые. Но свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.